



# СЛОВО БАХТИНА И СЛОВО О БАХТИНЕ

Статья поступила  
в редакцию  
в июле 2007 г.

Сегодня имя Михаила Михайловича Бахтина, которого называют одним из крупнейших мыслителей XX в., известно далеко за пределами гуманитарного круга. Его статьи и лекции 1920-х гг., идеи о полифонической структуре текста, сформулированные в исследовании «Проблемы творчества Достоевского» (1929), концепция понимания культуры как сложного диалога привели к кардинальным изменениям в гуманитарном знании — в литературоведении, социолингвистике, заложили фундамент современной культурологии.

Однако феномен Бахтина далеко не однозначен как в России, так и на Западе, в США. Пройдя путь от официального запрещения до апологетики и канонизации, бахтинские идеи и его имя легли в основу отечественной гуманитарной мифологии, а начиная с 1960—1970-х гг. стали объектом активно развивающейся «индустрии Бахтина», концерна по производству интерпретаций. Этот международный концерн включает исследовательские центры, издания, аналитические группы, создавшие несколько «разных Бахтиных» — европейского, американского, русского. Искажение, «присвоение имени» и конкретных научных результатов в отечественном и зарубежном контекстах объясняется во многом вынужденным выпадением Бахтина из реальной научной жизни: его работы стали достоянием современности спустя десятилетия после того, как они были написаны (исследование «Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса» завершено в 1940 г., а опубликовано в 1965 г.), а в иных случаях — уже после того, как автор считал их давным-давно утраченными. На Западе же процветание бахтинистов эпохи политического радикализма 1960—1970-х гг. питалось неомарксизмом, французским неотрейдизмом и сценариями власти у Мишеля Фуко.

Канонизированный Бахтин стал необходимой частью гуманитарного образования, среднего и высшего; его работы занимают ведущие позиции в программных списках обязательной теоретической литературы, подлежащей освоению, а главное, неременному цитированию в равной степени всеми — от школьника до академика... Бахтин возглавил корпус текстов и имен, заменивших в аппарате ссылок устаревшую обойму классиков марксизма-ленинизма. Тем важнее демистификация идей ученого со стороны настоящей, объективной науки. Публикуемая рецензия — свидетельство острой полемики вокруг бахтинского наследия.



Терри Иглтон

## ВМЕСТИТЬ В СЕБЯ МНОГООБРАЗИЕ<sup>1</sup>

Mikhail Bakhtin: The Word in the World by Graham Pechey. Routledge, 2007.

В последние 30 лет Бахтин был скорее брендом процветающей отрасли индустрии, чем индивидом. Индустрии не простой, а транснациональной, со всеми присущими ей атрибутами: разъезжающими по всему свету исполнительными директорами, международными конференциями и собственным журналом. В сфере теории культуры эта жертва сталинизма стала теперь частью — а во многом и жертвой — большого бизнеса. Множество набивших оскомину бахтинских терминов — диалогизм, двуголосие, хронотоп, многоязычие, амбивалентность — вошло в лексикон современной литературной критики. Космополитическое сообщество ученых, многие из которых посвятили текстам Бахтина всю свою жизнь, до сих пор не может прийти к согласию относительно трактовки его наследия; каждый пытается экспроприировать мэтра и поставить его идеи на службу собственным интересам. Кто он — марксист, неокантианец, религиозный гуманист, теоретик дискурса, литературный критик, этический мыслитель, философский антрополог или все это вместе взятое?

То, что этот некогда никому не известный советский филолог стал теперь звездой постмодернистского Запада, не так удивительно, как может показаться на первый взгляд. Потому что едва ли можно назвать хотя бы одну актуальную постмодернистскую тему, которую Бахтин не предвосхитил бы в своих работах. Речевые жанры, гибридность, дружность, сексуальность, выворачивание наизнанку, девиантность, гетерогенность, народная культура, тело, децентрализованное «я», материальность знака, историцизм, повседневная жизнь... Этот «преждевременный постструктуралист» (как называет его Грэм Пичи) нафантазировал (напророчил) такое количество атрибутов нашей современной жизни, что даже странно, что в его работах не упоминаются Пош и Бекс<sup>2</sup>. Поскольку лишь очень немногое в нашей культуре можно считать результатом его прямого влияния, напрашивается мысль: если бы Бахтин не существовал, не было бы нужды его придумывать.

<sup>1</sup> *Eagleton T. I Contain Multitudes // London Review Bookshop. 2007. Vol. 29. N 12 (пер. с англ. И. Фридмана)* ([http://russ.ru/culture/krug\\_chteniya/vmestit\\_v\\_sebya\\_mногообразie\\_slovo\\_bahtina\\_i\\_slovo\\_o\\_bahtine](http://russ.ru/culture/krug_chteniya/vmestit_v_sebya_mногообразie_slovo_bahtina_i_slovo_o_bahtine)).

<sup>2</sup> Так именуется в желтой прессе звездный дуэт: Виктория и Дэвид Бэххемы. — *Примеч. пер.*



Откуда этот странный параллелизм между эпохой сталинского террора и эрой iPod<sup>1</sup>? Ответ достаточно очевиден. Как работы Бахтина представляли собой, кроме всего прочего, закодированную критику советской автократии, так и постмодернизм в значительной мере произрос на развалинах современного марксизма. В работах таких философов, как Бодрийяр, Лиотар и иже с ними, он возник альтернативным мировоззрением для разочаровавшихся левых. Одержимость постмодернизма дискурсом имеет смысл только для эпохи, испытывающей дефицит политических действий. Вместо того чтобы поджигать кампусы, нынешние американские студенты вычищают из своей речи остатки «некорректности». Если марксизм проявлял постыдную застенчивость по отношению к сексуальности, то постмодернизм сделал из нее фетиш. Теплое, неисполненное желаний, доступное для ощупывания тело — это живой укор бескровным абстракциям типа азиатского способа производства. Вместо больших нарративов, которые вели в ГУЛАГ, мы имеем множество мини-нарративов. Если доктринальные абсолюты привели к расчленению тел, то на следующем этапе развития героем дня становится релятивизм. Если кастрирование гомосексуалистов — часть вашей культуры, с моей стороны было бы этноцентризмом против этого возражать. Революция утратила актуальность, но ее могут заменить спорадические карнавалы-игровые ниспровержения. Классовая политика уступает место политике идентичности. Систему нельзя свергнуть, но ее можно по крайней мере деконструировать. И поскольку бастионы капитализма — высокоразвитые страны, где пролетариат сошел с революционной сцены, не оставив преемника, — больше не внушали надежд на прямую политическую активность, взгляд постмодернистов невольно обратился на Другого, с каким бы паспортом (женщины, гомосексуалиста, представителя этнического меньшинства) ему ни случилось путешествовать.

Бахтин тоже был представителем пятой колонны. Он родился в провинциальном русском городе Орле в 1895 г. в семье незнатного дворянина, ставшего банкиром, и изучал классическую филологию в Петербургском университете. Его студенческие годы совпали с Первой мировой войной и русской революцией. Формирование Бахтина происходило в примерно тот же взрывной исторический момент, когда возникли большевики, футуристы и формалисты; и хотя он был человеком верующим и скорее православным христианином, чем марксистом, однако не следует забывать, что он жил в период бурного культурного синтеза, когда альянс между Коммунизмом и Христом не представлялся таким уж невозможным. И хотя Бахтина нельзя назвать историческим материалистом в строгом смысле слова, его мышление было во многом историческим и материалистическим. Присущая русской церкви тяга к

---

<sup>1</sup> iPod (ай-Под) — торговая марка серии миниатюрных музыкальных проигрывателей компании «Apple». — *Примеч. пер.*



коллективизму, вкупе со свойственным ей одухотворением чувств, сыграли свою роль в этом сближении, равно как и квазиматериалистическая вера в сакральность телесности. Это была вера, воспевавшая человечность Христа и исполненное разнообразие богатства повседневной жизни. Сквозь бахтинскую зачарованность материальностью мира просматривается — на что намекает название книги Пичи — теология воплощения. Интуиция Слова, ставшего плотью, определяет глубинную структуру (фактуру) его мирозерцания.

После революции Бахтин работал в ряде небольших городов, страдая от бедности, усугублявшейся плохим состоянием здоровья. Он болел остеомиелитом, в связи с чем ему пришлось в 1938 г. ампутировать ногу. Этот певец тела находился в неважной форме. Кроме того, он был завзятым курильщиком — привычка, которая привела к эмфиземе, — и, несмотря на свое восхищение раблезианскими пиршествами, жил в основном на чае, который поглощал галлонами. Во время Второй мировой войны, не имея возможности достать папиросную бумагу, он лишил потомство ряда глубоких прозрений тем, что извел на самокрутки пару-тройку своих рукописей.

В городе Невеле Бахтин преподавал в «единой трудовой школе»; в Витебске, будучи пока еще приемлемым для не успевшего окостенеть советского режима, читал лекции в Педагогическом институте и даже в губернской Совпартшколе 2-й ступени; руководил Литературной студией и организовал курсы по эстетике для работников искусств. В 1924 г. Бахтин вернулся в Петроград; не имея постоянного места работы и надежного заработка, он вынужден был выступать с лекциями, докладами и рефератами в самых различных аудиториях, главным образом в интеллигентских кружках «в домашних условиях». Здесь он, как обычно, «оброс» своим кружком, состоявшим в основном из анархистски настроенных литераторов и эрудитов-эксцентриков. По сути дела, ранний период его биографии может быть изложен в виде историй подобных — следовавших один за другим — кружков, формировавшихся вокруг него спонтанно, в какое бы забытое богом место ни забрасывала его судьба. Он был человеком, который не только проповедовал диалогизм, но и осуществлял его на практике. Однако к концу 1920-х гг. тот вид религиозности, который культивировался в его окружении, впал в немилость и стал вызывать у государства все большие подозрения; дело кончилось тем, что в 1929 г. Бахтин был арестован за членство в религиозном кружке, контрреволюционную деятельность и идейное растление молодежи. Мыслитель, чьи концепции диалогизма, иронии (как редуцированной формы ниспровергающего смеха) и непрямого говорения восходят к Сократу, в каком-то смысле (в редуцированной форме) разделил судьбу своего предшественника.

Символичным представляется и то обстоятельство, что Бахтина спасла от трудового лагеря и неизбежной гибели (он писал в



прошении в Наркомздрав: «при состоянии моего здоровья вынесенный мне приговор, в случае оставления его в силе, безусловно явится для меня приговором к медленной и мучительной смерти») книга. Выдающееся исследование Бахтина о поэтике Достоевского появилось, с провиденциальной своевременностью, в год его ареста, и Анатолий Луначарский, народный комиссар просвещения и дилетантствующий теоретик культуры, опубликовал о ней благожелательную рецензию в мартовском номере журнала «Новый мир» за 1930 г. Избежав лагеря, Бахтин был приговорен к относительно мягкому наказанию — шести годам ссылки в Казахстан. Как интеллектуальный совратитель юношества, он не имел права преподавать, запрещены были ему и публичные выступления с лекциями; чтобы обеспечить семье кусок хлеба, его жена Елена Александровна подрабатывала чем могла. Через некоторое время Бахтин, этот поклонник Данте и Гете, получил работу в райпотребсоюзе, куда был принят на должность экономиста-бухгалтера; таким образом, Бахтин внес свой вклад в коллективизацию, обучая бухгалтерскому делу свиноводов Кустаная. В 1934 г. срок ссылки Бахтина в Казахстане истек, но ехать было практически некуда. Поработав некоторое время вузовским преподавателем в Саранске, он был уволен; в разгар «Большой чистки» 1930-х гг. судьба занесла его в Савелово, под Москвой, где он умер бы от голода, если бы не помощь друзей. Наконец он вновь, на этот раз более прочно, обосновался в Саранске, где жил какое-то время в помещении бывшей тюрьмы и работал в Мордовском педагогическом институте на кафедре всеобщей литературы. Он также читал лекции по эстетике рабочим лампового завода и стал чем-то вроде местной достопримечательности.

В 1930-е гг. Бахтин написал труд о Рабле, который впоследствии переработал в диссертацию, а затем и в книгу «Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса»; в 1946 г. он представил рукопись на соискание ученого звания. Рецензенты, задетые сексуальной откровенностью работы и презрением автора к догматизму, встретили ее в штыки, обвинив Бахтина в «порнографии» и фольклористическом сентиментализме; после многочисленных проволочек ему была присуждена ученая степень кандидата филологических наук. И только в 1960-е гг. начался процесс его реабилитации, чему отчасти содействовал ученый-формалист Роман Якобсон. Поклонники Бахтина в Советском Союзе (некоторые из них даже не знали, что этот великий человек еще жив) стали добиваться переиздания книги Бахтина о Достоевском, и их усилия увенчались успехом в 1963 г., в результате длительной борьбы с властями. После интенсивной кампании в прессе была издана также книга Бахтина о Рабле, хотя и с некоторыми купюрами ханжеского характера (так, «пенис» превратился в «*bâton de mariage*»). Здоровье Бахтина и его жены было серьезно подорвано, и потребовались усилия его друзей (дело, кажется, не обошлось без содействия дочери Андропова), чтобы их удалось устроить на лечение в Кремлевскую больницу в Кунцеве. Из



больницы чета Бахтиных переехала в дом для престарелых в Климовске, зарезервированный для друзей СССР из третьего мира; а затем, наконец, Бахтин (его жена к тому времени скончалась) получил квартиру в Москве.

Как жизнь и смерть были переплетены в карнавализованном видении Бахтина, так и его репутация росла по мере того, как ослабевало тело. Он умер в 1975 г. в расцвете славы: литературоведы носились с Бахтиным как со знаменитостью, престарелые формалисты искали встреч с ним, а для молодых интеллектуалов он служил источником вдохновения; важно отметить, что это было время, когда литературная теория переживала небывалый взлет на Западе. Его последние слова (хотя он не признавал в своих работах наличия такой вещи, как «последнее слово») перед смертью были: «Я иду к тебе». Религиозные бахтинианцы считают, что «тебе» относится к Богу; бахтинианцы-марксисты полагают, что эти слова обращены к жене, умершей за четыре года до его кончины.

Центральный концепт Бахтина — понятие диалогизма — вовсе не предполагает повышенно-вежливого внимания к другим, как воображают некоторые либеральные интерпретаторы. Это понятие означает, что каждое слово или высказывание преломлено через массу других, отчасти антагонистических, индивидуальных употреблений, и его смысл может быть уловлен лишь с учетом всей этой совокупности. Такое понимание имеет сходство с постструктуралистской концепцией текстуальности. Не может быть непосредственной истины. По мнению многих современных мыслителей, мы приходим к себе через посредников-медиаторов, во многом чуждых нам (если не враждебных). Язык для Бахтина — это арена борьбы враждующих сил, и каждое высказывание пронизано изнутри чуждыми нам значениями и интенциями. Любой знак перекликается с другими знаками, носит на себе — и в себе — их следы; каждый знак находится в сложных взаимоотношениях с говорящим, объектом, контекстом и адресатом, в каком-то смысле он обращен к ним ко всем одновременно. Подобно человеческому существу, слова конституируются своими отношениями с другой (в ее различных проявлениях), поэтому язык всегда порист, гибриден и незавершен. Никогда не было первого слова, и не может быть последнего. Внутренняя незавершенность и непредсказуемость языка — ведь это факт, что я никогда не смогу «дедуцировать» из любых ваших двух слов, каким будет третье, — признак и условие человеческой свободы; таким образом, этот концепт является также и политическим (в широком смысле этого слова). Знаки никогда не идентичны самим себе: они всегда означают больше, чем говорят (они наделены избыточным смыслом, включающим в себя и то, чего они не говорят). Подобному пониманию языка противостоит оспариваемый Бахтиным «монологизм», под которым подразумевается устремление к созданию метаязыка, силившегося подчинить себе эту неукротимую гетерогенность. В некоторых случаях слово «монологизм» служит у Бахтина в каче-



стве вежливого обозначения сталинизма. Язык разрывается между «центробежными» и «центростремительными» импульсами; первый из них децентрализующий, второй — централизующий. Национальный язык стремится стать монологичным, но фактически в нем правит бал «гетероглоссия» — принцип множественности диалектов и речевых стилей.

Благодаря такому подходу работы Бахтина знаменуют собой решительный поворот от языка к дискурсу. Если Соссюр и его последователи свели язык к формальной, не учитывающей контекста системе, то Бахтина интересует в языке преимущественно то, что не может быть формализовано: контекст, интонация, импликации, материальность слова, подразумеваемое, но не сказанное, принятое на веру, идеологически нагруженное и обусловленное социальными отношениями между говорящими. И если коммуникация — это действительно то, что делает нас людьми, то лингвистика никогда не сможет быть полностью отделена от этики.

Итак, вербальный знак «многоакцентен», он представляет собой нестабильную силу, которая «живет» только благодаря своей ориентированности на другие знаки. Соответственно в сфере культуры Бахтин увлечен в первую очередь теми формами — карнавалом, менипповой сатирой («мениппеей»), романом и т.п., — которые репрезентируют могучее «полифоническое» состязание дискурсов, в ходе которых одни формы значения релятивизируются и децентрализуются другими, и если проследить за «поведением» какой-нибудь (практически любой) идиоматической формы, то выяснится, что она проводит по отношению ко всем окружающим ее формам «экспансионистскую политику», включающую смысловую субверсию, цитирование, контекстуализацию и деконструкцию. Наиболее мощным литературным воплощением такой «политики» является роман, сугубо смешанный жанр, который, в отличие от своих предшественников, имевших основания гордиться «благородным происхождением» — эпоса, пасторали или трагедии, — представляет собой игру без правил; в глазах Бахтина роман — не столько поддающаяся определению литературная форма, сколько разрушительная сила. Роман живет исключительно за счет диалога с другими литературными жанрами, высмеивая и пародируя их, а порой выступая по отношению к ним в роли каннибала. Роман — это диссидентствующий антижанр, склонный к девиантному поведению; он неканоничен и даже антиканоничен; его миссия — миссия «секулярного священного писания» — состоит в том, чтобы продемонстрировать частичный и условный характер любого дискурса. Бахтину не кажется случайным тот факт, что наиболее грандиозные коллизии между вербальными формами развернулись в эпоху эллинизма и в эпоху Ренессанса — в обоих случаях «антижанр» расцвел на руинах более или менее авторитарных идеологических систем.

В книге «Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса» эта оргия значений выплескивается на улицу в форме карнавала. В русской народной традиции, где дурак



зачастую неотличим от блаженного (святого, юродивого), принято ерничать, проблематизируя трансцендентные означающие и подвергая сатирическому пародированию все официальные ценности. Как и роман, карнавал культивирует и прославляет изменчивость и «мутабельность», динамику и нестабильность. Все абсолютные ценности высмеяны и релятивизированы. В противовес торжественности и высокой серьезности официальной доктрины выдвигается стихия смеха, сметающая на своем пути любую иерархию. Наслаждаясь травестией, расчленением и всякого рода инверсиями (нос/фаллос, лицо/ягодицы, священное/профанное, мужское/женское, высокое/низкое), карнавал неистовствует, прокатываясь по улицам и рыночным площадям, ради катарсического момента эйфории. Жесткие оппозиции деконструированы при помощи скабрёзных насмешек. Рождение и смерть, разрушение и возрождение, тело и душа, мудрость и глупость, анальное и ангельское нерасторжимо сплелись в двутелых образах — змеях, кусающих свой хвост. Переходы увидены как места, где тела преодолевают свои границы и экстатически «взаимоперетекают» одно в другое. Все, что касается практических действий, двусмысленно и слишком зыбко для рубрикации; любая активность оборачивается двуликим Янусом. Карнавал «выпускает воздух» из всего «надутого», снижает все возвышенное и претенциозное; и за этой десублимацией просматривается пафос христианского писания, согласно которому спасения удостоивается тот, кто подал томящемуся от жажды стакан воды. Будучи первым в истории движением, сакрализировавшим обыденную жизнь, христианство стоит у истоков заинтересованности Бахтина повседневностью — и оно же проступает (хотя и не так отчетливо) за тем чарующим воздействием, которое всегда оказывала на Бахтина народная культура.

Возможно, лучшей из книг о Бахтине, появившихся до сих пор в Британии, является работа Кена Хиршкопа «Михаил Бахтин: эстетика для демократии» (Mikhail Bakhtin: An Aesthetic for Democracy, 1999). Работа Хиршкопа оказала влияние на исследование Пичи в нескольких отношениях. Прежде всего, Хиршkop, в отличие от Пичи, читает по-русски, что позволило ему с пользой для себя поработать в московских библиотеках. Во-вторых, Хиршkop пишет ясной, чуткой к запросам читателей прозой, в то время как Пичи увлекается риторическими фигурами, иногда балансирующими на грани словоблудия. Не в силах устоять перед искушениями ложного красноречия, он впадает иногда в совершенно невыносимый проповеднический тон (от него можно услышать, например, такое: «греховная надменность современного разума приводит к тому, что политика двадцатого столетия проникается духом террористических ересей»). Несмотря на свое восхищение Бахтиным, Хиршkop может позволить себе резкую критику своего «подопечного», в то время как Пичи не готов сказать о нем ни одного дурного слова. Почти безупречный мыслитель, с которым знакомит нас Пичи в своей книге, не может быть непоследовательным, уклончивым и двусмысленным, в то время как Хиршkop особенно силен в выяв-





лении в мысли Бахтина противоречий и сбоев. Наконец, хотя Хиршкоп и марксист, он не склонен во что бы то ни стало представлять Бахтина своим единомышленником, в то время как Пичи, марксист, ставший христианином, не гнушается такими приемами. «Михаил Бахтин: слово в мире» — достаточно пронизательная работа, обнаруживающая в ее авторе большой интеллектуальный потенциал; но за искусным и, на первый взгляд, сугубо академическим стилем Пичи скрывается глубокая тенденциозность.

Пичи убедительно показывает, что Бахтин намеревался переписать культурную историю современности. В его работах эпистемология уступает место эстетике точно так же, как в истории на смену абстрактному разуму Просвещения пришла чувственная партикулярность искусства. Но грубо инструментальная рациональность не умерла, а, приняв новое обличье, возродилась в форме коммуникативного разума. Но и на него нашлась управа: современный человек, с его ложной претензией на автономность, столкнулся с могучим противником в лице диалогического субъекта. Ввиду того что естественной средой обитания «диалогиста» является художественная сфера, эстетика превратилась в новейшее время в некое убежище, давшее приют утраченным или «выведенным из игры» — словом, немагистральным — формам знания. Пичи излагает свою концепцию с большой силой и красноречием; но он не может удержаться от демонизации своих многочисленных оппонентов в самой что ни на есть недиалогической манере. Так, богатое и на удивление оригинальное (хотя, разумеется, и не лишённое серьезных недостатков) наследие русских формалистов дискредитируется им как «технократическое». В книге просматривается вполне отчетливая (и едва ли не главная для автора) цель: провести параллель между ними и сталинистами. Все авангардные течения (Рембо? кубизм? сюрреализм?) «обречены на ад» (по выражению самого Пичи) как проявления литературного ленинизма. Именно авангардисты-конспираторы играли ведущую роль в тех зловещих модернизаторских проектах, которым они якобы бросали вызов. Такая бойкая карикатура на авангард очень удивила бы Маяковского, покончившего жизнь самоубийством в 1930 г., когда он почувствовал на себе железную сталинскую хватку. Пичи упускает из виду реальную сложность европейского модернизма, который был в одно и то же время и ультра- и антимодернизаторским. Если верить Пичи, то модернизм — это порождение «абстрактной мысли и бездушной эпистемологии»; Просвещение — движение, о котором нельзя сказать ничего хорошего (а как насчет демократии? феминизма? либерализма? универсальных прав?); и хотя Бахтин был жертвой варварского иррационализма советского режима, нам предлагают восхищаться «любой группой, у которой хватило разума заподозрить Разум» (обычная для этого автора игра со строчными и прописными буквами).

Хотя Пичи стремится «отмыть» Бахтина от малейших намеков на влияние марксизма, он проявляет в этом отношении очевидную непоследовательность. С одной стороны, марксистские тексты,



написание Бахтиным и вышедшие под именами двух его коллег, скорбно осуждаются как «фальсификация»; с другой стороны, про эти же работы говорится, что они были «вдохновлены» или даже «внушены» временем. Возможность того, что Бахтин ненадолго поддавался обаянию большевистской революции, восприняв ее на свой идеалистический лад, даже не обсуждается. Пичи уверяет нас, что в его намерения не входит «политизация» автора, о котором он пишет; тем не менее, он достаточно настойчиво трактует его работы как полемику с советской властью и даже высказывает предположение, что Бахтин был приверженцем «квазизападного марксизма» (что за зверь?). Не удовлетворившись этой мягкой (хотя и непонятной) формулировкой, Пичи, с несколько неожиданным безрассудством, идет дальше и провозглашает Бахтина предшественником постколониализма; в этом плане обескураживает тот факт, что Пичи, будучи южноафриканцем, не видит теперь большой разницы между идеологией господствовавшего на его родине государства апартеида и сменившей его «ортодоксией субверсии». Разочарование в Африканском национальном конгрессе (в купе с естественным для повзрослевшего человека движением вправо), должно быть, сыграло свою роль в эволюции Пичи от марксизма к христианству. В той мере, в какой Бахтин, судя по всему, тоже проделал эволюцию от некоторых симпатий к марксизму к понятному противостоянию этой идеологии, книга Пичи имеет и автобиографическое измерение.

При всех своих противоречиях и недостатках исследование Пичи — это большое интеллектуальное достижение, своего рода *tour de force*, плод раздумий ученого, который долго и глубоко размышлял над своим предметом. Однако следовало бы держать в уме, что нет ничего безоговорочно позитивного в таких категориях, как изменение, динамизм, плюрализм, гибридность и незавершенность. Со времен Бахтина произошло нечто такое, чего ни Пичи, ни постмодернисты, кажется, не заметили, а именно: если раньше «динамическая парадигма» была альтернативой по отношению к господствующей системе, то сегодня она интегрирована в систему без остатка; более того, сама система без нее уже немыслима. Ни один режим так не любил разнообразие и динамизм, как его любит поздний капитализм. Не следует забывать также и о том, что одним из неоспоримых достоинств марксизма был его отказ заигрывать с альтернативными версиями «модерности», поскольку эти альтернативы заложены в глубинах самой модерности. Те самые силы, которые несут ответственность за человеческую бедность и угнетение, могут также способствовать эмансипации и росту благосостояния. Возможно, в этом и заключается, в конечном счете, самая одиозная и наводящая на размышления особенность диалогизма.